

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Часть первая.</i> Был, есть и будет	13
<i>Часть вторая.</i> Паства	99
<i>Часть третья.</i> Вместилища	207
<i>Часть четвертая.</i> Дьявол и Д'Амур	389
<i>Часть пятая.</i> Шествие	449
<i>Часть шестая.</i> Великий замысел	577
<i>Часть седьмая.</i> Листья с древа историй	793

*Память, прорицание и фантазия —
прошлое, будущее
и миг грезы между ними —
все это одна страна,
проживающая один бессмертный день.*

Знать об этом — Мудрость.

Использовать это — Искусство.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

«*Эвервилль*» — вторая книга из предполагаемой трилогии, носящей название «*Книги Искусства*». Я сознаю проблемы, которые олицетворяют «промежуточные книги»: зачастую создается впечатление, будто бы они живут собственной жизнью на ничейной территории, между радостями нового начала и драмой заключительного действия. В свете этого при написании книги я решил нарушить как можно больше правил по части ее структуры. Так, «*Эвервилль*» открывается событиями, которые предшествуют сюжету первой части трилогии (у меня витает мысль, в которой я еще не утвердился, будто третья часть начнется хронологически даже раньше), и заходит по действию гораздо дальше, чем «*Великое и тайное представление*». Более того, вторая книга развивает и даже вступает в противоречие с метафизикой предшествующей истории.

Я прежде неоднократно отмечал, что, сколько бы фантастической ни казалась моя проза на первый взгляд, мои произведения всегда исходят из некоей насущной личной потребности, определенного желания, если вы позволите мне такое допущение, разъяснить что-то самому себе. «*Эвервилль*» я писал в США, и это первый из моих крупных романов, написанных на принявшей меня земле. История первопроходцев, с которой начинается эта книга, связана с моим общим знакомством с обстоятельствами заселения этой страны. Чем дальше я продвигался в моих изысканиях, тем

больше меня увлекала драматургия того, как эти люди переосмыслили и перекраивали собственные жизни. Впрочем, я и сам в некотором смысле пересматривал собственные воззрения и потому ощущал к ним сочувствие. Более того, история Мэйв, пережившей незадавшееся путешествие на Запад,— ключевая сюжетная линия этого романа. Но вся значимость этих эпизодов станет очевидной лишь ближе к концу романа. Я вижу в Мэйв — устроительнице империй и основательнице Эвервилля, жизнеописание которой затирается из хроник созданного ею города,— персонажа особо притягательного. Мы встречаем ее в детские годы при столкновении с чудовищами. Зачастую трагические условия жизни Мэйв открываются нам по ходу книги через ряд мелких откровений, которые постепенно обостряются и проводят нас через границу, отделяющую этот мир от мира иного, мира Сущности.

В «*Великом и тайном представлении*» море грез можно увидеть через слегка приоткрытую дверцу. В конце романа есть небольшая сцена, в которой мы попадаем туда, но это лишь издевательски мимолетный взгляд в крайне занимательный иной мир. В Эвервилле же (я подразумеваю как город, так и книгу) дверь распахивается настежь и нас затаскивают на ту сторону, дабы мы могли тщательно ознакомиться с этим местом. И книга кардинальным образом меняется с того момента, когда мы становимся *мореплавателями*.

Тропы того, что в литературе именуют «хоррором» (мельком замечаемая инаковость, далекое от нас неопишное зло), составляют подоплеку «*Великого и тайного представления*». В «*Эвервилле*» же мы сталкиваемся с элементами «фэнтези» в наиболее общих коннотациях этого слова: путешествие к труднодоступным островам, прогулки по неизвестному граду (в данном

случае — б'Кетер-Саббату), потрясающие воображение создания. Однако специфическая природа Сущности (и остающиеся лишь наполовину раскрытыми тайны происхождения этого мира) позволяют мне импровизировать с формами. Третий город этой книги (после Эвервилля и б'Кетер-Саббата) де факто представляет собой сочетание пришедших мне на память фрагментов хорошо изведенного мною места: Ливерпуля. А кто вспоминает о нем на страницах этой книги? Конечно же, Мэйв. Ее следует признать *автором* и Эвервилля, и вымышленного Ливерпуля. Оба города, преобразенные на привычный героине лад, обретают бытие через ее сны.

И естественно, ядром *«Книг Искусства»* выступают как раз сны: сюжеты закручены вокруг идей о том, как какой-то предмет создается наяву и реконструируется в воображении. Тему сотворения можно назвать наиболее существенной для меня как писателя или, точнее, одной из крайностей моего тематического спектра (вторым пределом будет уничтожение сотворенного). Эту книгу можно даже представить как процессию «вторичных творений», которые постепенно демонстрируют степень взаимосвязанности друг с другом. Пресловутое шествие, змеясь через Эвервилль, ведет нас к катастрофе. Среди таких творений можно отметить Риф, который Грилло создает для того, чтобы объединить в нем все знания, собранные по загадочному Искусству; картины Теда Дюссельдорфа, через которые создатель пытается представить реальный мир в метафизическом измерении; пришедшие к Мэйв через сны города; бесстыдное порождение ликсов. И в этих более масштабных творениях часто встречаются отсылки к детищам поменьше. В частности, Оуэн Будденбаум радуется тому, в скольких произведениях, основанных на

художественном вымысле, он упоминается. Позднее, в разговоре с барменом, герой будет восхвалять талант рассказывать истории. Даже выбитая на могильном камне надпись, какой бы дурной и нескладной она ни была, несет в себе редкостную силу.

Идея вторичных творений напоминает мне об одном из наиболее мощных источников, в котором я черпаю вдохновение: *«Тысяча и одна ночь»*.

Кому-то, возможно, покажется, что это собрание разношерстных сказов имеет крайне отдаленное отношение к роману, который сейчас перед вами. Однако у меня на книжной полке представлено не так много изданий, которые красной нитью проходят через все мое творчество. Выдумки, составляющие *«Тысячу и одну ночь»*, представлены с завидной небрежностью, обескураживающим безразличием к тонкостям реального мира, которые, конечно же, лежат в основе сказок и народных сказаний. Никто из персонажей этих сюжетов не тратит много времени впустую для того, чтобы высказать удивление или неверие перед лицом чудес и ужасов, которые затрагивают их бытие. И чудеса и ужасы — такая же часть их мироздания, как любовь и смерть.

В воображении я рисую себе, как читатели воспринимают мои истории с той же непосредственной готовностью, с которой первые слушатели внимали доподлинным версиям сказов из *«Тысячи и одной ночи»*, а первые зрители смотрели пьесы Шекспира. Никто не встал посреди первого акта *«Гамлета»*, чтобы провозгласить: «Знаете, здесь какая-то неувязочка. Ну не верю я в привидения». И — дозвоьте мне это допущение — никто при знакомстве со сказкой про Синдбада-морехода не заявил, что птицы-переростки Рух — всего лишь легенды. Вы можете предположить, что люди того времени

были не особенно искушены знанием и от нехватки опыта *искренне* верили в фантомов и птиц-гигантов. Позвольте не согласиться с вами. Я вижу в их желании прислушиваться к идеям и быть верным устоям здоровую, живую любознательность, которую из нас с вами по большей части просто вытравили с опытом.

Итак, в «*Эвервилле*» вас ждут претворенные в жизнь отдельные уроки, почерпнутые мной из «*Тысячи и одной ночи*». Предполагаю, что у вас, мой читатель, сознание достаточно гибкое, чтобы не было необходимости обременять его изрядной дозой надуманных теоретических размышлений. Вы и без меня знаете, о чем пойдет речь. Моя книга призвана расширить пределы вашего воображения. На вашем пути — целый лабиринт сюжетов, некоторые из которых приведут к трагическим развязкам, часть — к воссоединению и обретению любви. Периодически перед вами будут сновать чудные и фантастические элементы, чья неправдоподобность зачастую будет оставаться незамеченной. И постепенно, малюсенькими шажками, почти неоощуцаемыми сдвигами, вам откроется видение некоего мира. Причем ничего нравственного, как и, на мой взгляд, безнравственного, в этом видении не будет. Автора этого видения либо мало интересует, либо вовсе не занимает этот срез вещей. Категории добра и зла составляли всю целостность «*Великого и тайного представления*», здесь же они в существенной мере утрачивают значимость. Настоящая книга — о тонких связях между вещами, о том, как прошлое влияет на настоящее, о том, как наши глубоко личные желания сказываются на масках, в которых мы выступаем в обществе, и о замысловатом переплетении верующего и божественного.

В центре книги будет описан символ, который обозначает эту взаимосвязанность, некую карту, на

которой изображен перекресток, отделяющий этот мир — Косм — от потустороннего мира Сущности — Метакосма. Переход из одного мира в другой символично представлен в виде условной горизонтальной оси. Вертикальная ось, идущая к северу от этой центральной черты, олицетворяет восхождение сознания до состояния единения, которое характеризует божественное состояние. Спуск же по устремленной на юг нисходящей линии есть возврат к первозданной простоте примитивной клетки. Если вам так будет проще, то этот символ можно воспринять как компас, который позволит каждому читателю установить собственное положение. Но этот образ также являет собой переработанную мною версию распятия. Ведь в самом сердце этого устройства — на пересечении движения телесного и движения духовного — мы находим распластанную фигурку человеческого создания. Этот образ для меня в некоторой мере — путеводная звезда. Каждый раз, когда я вспоминаю его, я ясно сознаю цель, преследуемую мною в этой трилогии, которая будет завершена по написании третьей части «*Книг Искусства*», а именно — я хочу, чтобы мои читатели на какое-то время задержались в этом сакральном месте, ощутили течение энергии между состояниями бытия.

Клайв Баркер
13 августа 1999 года

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Надежда — вот что привело их к краху. Надежда в совокупности с уверенностью, что Провидение и без того доставило им предостаточно страданий во имя исполнения их желаний. По пути они уже успели потерять многое: детей, лекарей, вожakov. Многих у них забрали. И, конечно же, Всевышний, заключали они, должен был уберечь их от еще больших лишений, вознаградить за печали и тяготы прибытием в место изобилия.

С первыми признаками надвигающейся метели — над горными грядами впереди появились облачные массивы, на фоне которых грозовые тучи Вайоминга казались мелким туманом, а в ветер затесались осколки льда — они начали твердить друг другу: вот оно, наше заключительное испытание. Пойдем на попятную, испугавшись ветра и снега, — значит, все, кого мы предали земле по дороге сюда, умерли понапрасну, а все их страдания — да и наши тоже — были бессмысленными. Надо двигаться дальше. Именно сейчас, как никогда, мы должны верить в мечту освоения западных рубежей. Да и в конечном счете, уверяли они друг друга, ведь на дворе — еще только первая неделя октября. Ну, возможно, пару раз налетят снежные шквалы, пока мы будем подниматься вверх. К наступлению настоящей зимы мы уже будем по ту сторону гор и спустимся с них к душистым лугам.

Вперед же, вперед, во имя мечты.

Возвращаться назад было уже поздно, да и некуда. Допустим, что снег, сошедший на них на прошлой неделе, не перекрыл бы перевал, оставшийся позади первопроходцев. Все равно их кони были слишком голодны и вымотаны, чтобы везти фургоны обратно через горы. У путешественников не оставалось иного выбора, кроме как продвигаться вперед несмотря на то, что они уже давно утратили понимание того, где находились хотя бы примерно. Они следовали по наитию через белизну столь же плотную, как наичернейшая полночь.

Ветер пробивал временами в облаках бреши, но нигде не было ни малейших намеков ни на солнце, ни на небо. Перед глазами представала лишь очередная не знающая жалости вершина, отделявшая путешественников от обещанных просторов земли обетованной и кидавшая навстречу им со своего пика клубы снега, которые ниспадали и оседали на склонах, куда компании еще только предстояло добраться в борьбе за выживание.

Надежды у них оставалось все меньше, и с каждым днем она продолжала убывать. Из восьмидесяти трех рассчитывавших на лучший исход душ, которые покинули Индепенденс, штат Миссури, весной 1848 года (не считая шести новорожденных, которые добавились к ним уже в пути), в живых оставалась всего тридцать одна. В первые три месяца переезда, за которые они успели миновать Канзас, пройти Небраску и преодолеть 783 километра по Вайомингу, у них погибло всего шесть человек. Трое утонули; еще двое заплутали и, по общему предположению, стали жертвами индейцев; последняя из погибших собственноручно повесилась на дереве. С наступлением летнего зноя участились случаи заболеваний, и первопроходцы начали

ощущать на себе всю тягость путешествия. Первыми их покинули самые юные и самые пожилые, чье здоровье подорвали непригодная вода или тухлое мясо. Мужчины и женщины, о которых пять-шесть месяцев назад можно было сказать, что они были в самом расцвете сил, людьми трудолюбивыми, отважными и зрелыми, сморщивались и жухли по мере истощения запасов продовольствия. Земля, которая, как им было заявлено, обеспечила бы их всевозможными плодами и дичью, оказалась скупа на щедрые дары. Мужчины покидали повозки и блуждали в поисках еды днями напролет и возвращались с пустыми руками и ввалившимися глазами. Холод настиг процессию в уже сильно пошатнувшемся состоянии, и последствия его наступления оказались особо пагубными.

Мороз, снег, усталость, голод и безнадежность унесли за три недели сразу сорок семь человек.

Вести учет погибших пришлось Герману Дилу — единственному человеку среди выживших, которого можно было с натяжкой назвать лекарем после кончины доктора Ходдера. Дил настойчиво твердил спутникам, что они вместе помолятся за павших по достижении Орегона — благодатной земли, которую они ожидали найти на Западе. Всем и каждой душе, чья смерть была зафиксирована у него в записной книжке, отдали бы должную дань уважения. До этого счастливого часа еще живым не стоило забивать себе голову мыслями о почивших, которые уже нашли теплое и мягкое прибежище в объятиях Бога. Упокоившиеся не стали бы винить собратьев, покинувших их в земле, ни за мелкую глубинную могил, ни за краткость молитв, произнесенных в их память.

— Мы с любовью вспомним их,— объявил Дил,— когда нам выдастся небольшая передышка.

На следующий день после этого торжественного обещания он и сам присоединился к числу мертвых. Дил испустил дух, когда они продирались через заснеженное поле. Труп остался непогребенным — по крайней мере, человеческие руки в этом действии участия не приняли. Снег наваливался такими плотными слоями, что к тому моменту, когда скудные пожитки Дила были разделены между оставшимися путниками, его тела уже не было видно.

Той ночью Эван Бабкок и его супруга Алиса вместе умерли во сне, а Мэри Уилкоккс, которая пережила пятерых детей и лично наблюдала затухание и кончину от горя мужа, отдалась смерти со стоном, который все еще отдавался эхом в горах, когда утомленное сердце, испустившее его, уже замерло.

Наступил рассвет, но он не принес с собой никакого утешения. Снегопад не останавливался. К тому же, в облаках теперь не оставалось ни единой щели, которая позволила бы путешественникам понять, что их ожидало дальше. А потому они просто шли, опустив головы, слишком изможденные, чтобы говорить, а уж тем более петь песни, которыми они заходились в еще беспечные майские и июньские деньки, когда их голоса возносили хвалу Небесам, соблаговолившим устроить им это приключение.

Кое-кто молился про себя, умоляя Бога дать им силы выжить. Некоторые в обращениях к Всевышнему, возможно, обещали, что если им будут дарованы силы и они выберутся из белой глуши на зеленые пастбища, то их благодарность не будет знать никаких границ и они будут до самого конца жизни свидетельствовать, что при всех печалях, которые приходится испытывать в этой жизни, человек не должен отворачиваться от Бога, ведь Бог — это надежда, Бог — вечность.

II

В начале путешествия в череду повозок разместилось в общей сложности тридцать два ребенка. Теперь их число сократилось до всего одного. Звали ее Мэйв О'Коннелл. Это была внешне ничем не примечательная девочка двенадцати лет, чья тоненькая фигурка скрывала в себе стойкость, которая поразила бы всех, кто еще весной, покачивая головой, заявлял ее овдовевшему отцу, что дочери не дано пережить дальний путь. Она вся была, с их слов, будто бы соткана из веток и косточек, со слабыми ногами и впалым животиком. И, вероятнее всего, с головой у нее было не все в порядке, как и у ее отца Хармона, перешептывались они, прикрывая рты ладонями. Пока вся их компания собиралась к отъезду из Миссури, Хармон успел наплести кучу небезлиц о том, какие устремления вели его на Запад. Орегон, возможно, станет им Эдемом, замечал Хармон, но не леса и не горы принесут ему славу места великих человеческих свершений, а славный, великолепный город, который Хармон намеревался там основать. Достойные подлинного идиота речи, заключили путешественники за закрытыми дверями, в особенности из уст ирландца, который вплоть до того момента повидал разве что Дублин да закоулки Ливерпуля и Бостона. Что такому человеку может быть известно о башнях и дворцах?

Когда они пустились в путь, те, кто прежде отзывался о Хармоне пренебрежительно между собой, стали заметно менее сдержаны в выражении собственных мыслей. Хармон вскоре приучился рассуждать о своих градостроительных планах лишь наедине с дочерью. У его спутников к земле, куда они все направлялись, были гораздо более скромные притязания: достаточно древесины, чтобы отстроить себе домики, плодородная

почва, добротная вода. У путешественников закрадывались подозрения в отношении любого человека, который высказывал любые амбиции сверх этого.

Впрочем, умеренность притязаний никак не помогла уберечь их от кончины. Мужчины и женщины, особенно не стеснявшиеся в выражениях по поводу Хармона, уже были мертвы и покоились вдалеке от плодородной почвы и добротной воды, а умалишенный мужлан продолжал путь со своей костлявой дочуркой. Время от времени, даже в эту последнюю череду безнадежных дней, Мэйв и Хармон, шагая подле высохшей до скелета клячи, перешептывались друг с другом. И если ветер вдруг менял направление, то их слова доносились по воздуху до ушей шедших неподалеку. Отец и дочь, основательно измотанные, все также продолжали говорить о городе, который они собирались основать, как только их нынешним мукам настанет конец, чудесном граде, который будет стоять и после того, как все бревенчатые домики Орегона сгниют и сгинут со свету, и после того, как память о людях, построивших их, обернется прахом.

Они уже даже придумали название этому славному городу, которому предстояло пережить течение времени.

Имя ему было «Эвервилль».

Ах, Эвервилль, вечный град!

Мэйв не раз приходилось выслушивать перед сном разглагольствования отца об этом месте. Он не сводил глаз с огня костра, но они видели перед собой иное: улицы, площади и величавые здания мечты, которой было суждено стать явью в скором будущем.

— Мне кажется иногда, что ты там уже бывал, — заметила Мэйв отцу как-то вечером ближе к концу мая.

— Так и есть, моя хорошая, — подтвердил папа, вглядываясь через открытую равнину на готовившееся